
Николай Глазов
погружение в Агапрэ

Николай Глазов
погружение в Агапрэ

https://litres.ru/74732919
SelfPub; 2026

Аннотация

Священник Николай теряет жену и дочь, но берёт под опеку двух осиротевших братьев. Параллельно мальчик Тёма из детдома видит мистические сны о любви «Агапэ» и обретает семью. Православная проза с элементами фантастики и мелодрамы о том, как любовь и вера исцеляют разбитые сердца.

Николай Глазов погружение в Агапрэ

Книга: погружение в Агапрэ!

1.Часть первая
2.Часть вторая

Жанр книги: православная проза, фантастика, семейная мелодрама

Автор: Глазов Николай Александрович

Глава первая. Деревенская пятидневка

Деревня Уставка, зажатая между старым сосновым бором и пологим берегом мелководной речки, жила своим неспешным, веками заведённым порядком. Пятый день деревенской недели подходил к концу, и воздух, напоённый густым запахом нагретой за день полыни и близкой сыростью от реки, уже начинал синеть, предвещая скорые сумерки. В эти предвечерние часы Уставка особенно отчётливо отбивала свой мерный ритм: где-то вдали, за огородами, глухо мычала корова, возвращавшаяся с пастбища, звонко перекликались петухи, а над крышами изб курился лёгкий, почти прозрачный дымок.

Лицей номер семнадцать, приютившийся в приземистом, но крепком кирпичном здании ещё довоенной постройки, ожидал последний звонок седьмого урока. В классе духовно-нравственного воспитания и культуры России, где на побеленных стенах висели репродукции старинных икон и пожелтевшие от времени карты, дети сидели тихо и молча, склонившись над партами. Шёл важный контрольный срез, и в воздухе, казалось, висело само напряжение: слышно было, как под чьим-то пером скрипит бумага, да за окном, не умолкая, щебетала неугомонная стайка воробьёв.

Отец Николай, священник тридцати лет, стоял у окна, заложив руки за спину. Его длинные, чуть волнистые волосы, стянутые простой чёрной резинкой, спадали на плечи. Батюшка был облачён в обычный тёмный подрясник, поверх которого на серебряной цепочке красовался наперсный крест — на его лицевой стороне виднелось четкое, рельефное изображение распятия. Он смотрел на своих учеников и ждал. У батюшки было очень доброе, кроткое сердце и спокойный, почти непоколебимый нрав. Он всегда старался перевести всё в шутку, успокоить, поддержать, найти для каждого тёплое слово. Не всегда у отца Николая это получалось — дети есть дети, иной раз их шалости выходили за всякие рамки, — но любил он их всех, каждого по-своему, как родных. Дома у батюшки подрастали пятилетний сын Амвросий

и дочь Ксения. Любил он своих детей больше всего на свете, и мысль о них тёплым огоньком всегда жила где-то на дне его души, даже в самые суетные минуты.

И сейчас, в преддверии конца урока, отец Николай ожидал, что вот-вот дети закончат писать контрольную, прозвенит школьный звонок, и он, отпустив их со спокойной совестью, пойдёт по своим делам — к вечерней службе, а потом домой, к своим малышам. В классе стояла та особая, чуть напряжённая тишина, какая бывает только на контрольных: слышно было, как за окном ветер шевелит молодую листву, как где-то в коридоре, за дверью, уборщица тётя Валя гремит ведром, переставляя его с места на место.

Вот звонок, резкий и трелистый, пронёсся по школьным коридорам. Дети, словно очнувшись, быстро повставали со своих мест и, шумно выдыхая, начали передавать работы на первые парты. Батюшка, улыбнувшись и еле-еле присев от усталости на краешек учительского стола, посмотрел на детей, которые уже убегали, сверкая пятками, наперегонки к выходу. Он смотрел им вслед, и в его глазах светилась тихая, немного усталая радость.

И только Евгений не спешил. Он молча стоял возле своей парты и смотрел на батюшку. Это был мальчишка неописуемой красоты и такого же неописуемого, неиссякаемого озор-

ства. Светлые вихры торчали в разные стороны, а в глазах, казалось, всегда плясали бесенята. Когда Женька не знал ответа или не был уверен в своей работе, он спокойно смотрел на отца Николая, искренне полагая, что одной своей обезоруживающей улыбкой сможет получить хорошую оценку. Батюшка иногда, для острастки, смотрел на него очень строго, почти жёстко, и тогда улыбка Жени немного спадала, делалась виноватой. Потом отец Николай своей большой, тёплой рукой клал на голову ученику, легонько трепал его по волосам и с хитрой шуткой говорил:

— Вот не принесешь мне исправленную работу, Женька, — мама не горюй!

Женька заливисто смеялся, и дети, уже было выбежавшие в коридор, еле сдерживали смех, оборачиваясь. Поставив в журнал и получив свою заветную, выстраданную оценку, Женя всё-таки радостный убежал, а батюшка, забрав свой потертый портфель, набитый тетрадями, направился потихоньку к выходу. В классе сразу стало как-то пусто и тихо. Уже многие учителя разошлись по домам, и только в конце коридора, у открытого окна, ещё переговаривались две женщины из начальной школы. Свет в коридорах уже почти везде погас, остались лишь тусклые дежурные лампы, и уборщицы завершали своё мытьё, оставляя за собой влажный, свежий запах и блестящие полы.

Выйдя на крыльцо, батюшка почувствовал, как подул ветер — свежий, по-вечернему прохладный, принесший с собой горьковатый запах тополиных почек и далёкий, едва уловимый аромат отцветающей черёмухи. Отец Николай даже про себя только успел подумать, подставляя лицо ветру: «Дай же, Господь, дай мне немного остыть от сегодняшней недели», — и пошёл дальше по дорожке, ведущей к калитке, всё думая о том, как замечательно складывается и начинается его жизнь. Он шёл, а на душе у него было спокойно и светло, как бывает только тогда, когда сделана важная работа и впереди — тихий вечер, домашний уют и любимые

А жил батюшка в обычной однокомнатной квартире в той же самой деревне Уставке, на втором этаже типовой пятиэтажки, построенной ещё в те далёкие годы, когда деревня только-только начинала обрастать каменными домами вместо покосившихся изб. Дом этот, видавший не одно десятилетие, давно обветшал и постарел вместе со своими жильцами: кое-где на лестничных клетках еле-еле мигал свет, а домофон, установленный здесь, казалось, ещё в прошлом веке, давно уже не воспринимал никакие кодовые значения, кроме магнитного ключа. Приложив заветный ключ к считывателю, батюшка услышал, как дверь запищала, словно старый верный пёс, признавший хозяина, и спокойно отворилась, впуская его в тёмный, пропахший сыростью и пылью

подъезд.

Отец Николай, тяжело ступая по серым, стёртым до бетона ступеням, поднялся на свой второй этаж. Лестница, как и весь дом, хранила следы времени: на стенах местами облупилась краска, перила были отполированы сотнями прикосновений, а где-то в углу, у мусоропровода, всё ещё стоял забытый кем-то старый веник. Батюшка отворил дверь своим ключом и вошёл в квартиру, снимая с плеч усталость долгого дня вместе с потертым портфелем, который он поставил в прихожей на тумбочку.

Квартира его была самой обыкновенной однушкой, но обжитой и уютной по-своему. В маленькой прихожей пахло чем-то домашним, тёплым — может быть, сушёными травами, которые жена любила развешивать пучками над батареей, а может быть, просто тем неуловимым запахом жилья, где живут люди, знающие друг друга много лет. В комнате, служившей одновременно и спальней, и гостиной, лежала жена. Услышав приход батюшки, она тихо скрипнула — то ли от боли, то ли просто поворачиваясь на постели, и этот звук, показавшийся в тишине квартиры особенно громким, эхом отозвался в сердце отца Николая.

Батюшка вошёл в комнату, и первое, что он увидел, — это дети. Амвросий и Ксения, его пятилетние сокровища,

уже спали, уставшие за день, отучившись в садике и набегавшись во дворе. Они лежали на своей маленькой кроватке, прижавшись друг к другу, и их лица во сне были такими безмятежными, что у отца Николая на мгновение сжалось сердце. Он тихонько подошёл, погладил каждого по голове — тёплой, чуть влажной от сна — и благословил их маленькой, безмолвной молитвой, которую знал с детства.

В углу комнаты горела лампадка — маленький, трепетный огонёк, освещавший святое место: крест, иконы в простых деревянных окладах, вышитое рушником распятие. Здесь, в этом углу, было средоточие всего дома, его тихая духовная крепость, где каждый день возносились молитвы и где, казалось, само время замедляло свой бег. Батюшка, опустившись на колени перед образами, начал молиться. И когда он молился, казалось, что всё в мире исчезает: оставались только он и Бог, и тихий свет лампады, и слова, идущие из самой глубины сердца. Отец Николай не просто читал молитвы — он вживую разговаривал и беседовал с Богом, прося о Царствии Божьем и обо всём, что лежало на душе. Иногда в таких беседах ему приходили хорошие и добрые мысли, словно Сам Господь отвечал на его немые вопросы, утешая и направляя.

Сейчас же он беседовал с Богом о жене. Просил узнать Его волю, понять, что Ему угодно насчёт неё. И если Ему

угодно, чтобы она отошла в Ветхие, — а это слово, страшное и неизбежное, он произносил в сердце своём с трепетом и болью, — то просил у Бога силы и крепости пережить это, не ожесточиться, не потерять веру и не уронить себя в пропасть отчаяния. Молитва была долгой, со слезами, которые он не вытирал, давая им свободно течь по щекам, и с той особой тишиной в душе, что приходит после настоящей, глубокой молитвы.

Когда он закончил, то подошёл к жене. Она лежала на постели, укрытая старым, но ещё крепким одеялом, и от болезни ворчала и была грустна. Лицо её, когда-то румяное и живое, теперь осунулось, покрылось той нездоровой, восковой бледностью, которая бывает у людей, долго борющихся с недугом. Батюшке, конечно же, это не нравилось, и он иногда тоже срывался на какую-то грубость — не от злости, а от бессилия и усталости, — однако же потом осекал себя, останавливал, и просил у жены прощения, и она, если хватало сил, отвечала ему слабым кивком или пожатием руки.

Жена в этот раз была темнее темного и мрачнее мрачного. Еле открыв глаза, запавшие и потускневшие, и тихо стеная, она лишь попросила у батюшки чая. Батюшка сказал, присаживаясь на край постели и беря её руку в свою:

— Зачем тебе чай, родная? Таблетки нужно, врачей вы-

звать.

А жена, будто не желая слушать батюшку, то ли от болезни, то ли от какого-то предвидения, которого сама ещё не осознавала до конца, вдруг завыла — тихо, протяжно, с той безысходной тоской, от которой у отца Николая сжалось горло:

— Не нужны мне лекарства, дурень ты этакий! Причасти меня, вот и всё, что мне надо, да исповедуй хорошенько.

И батюшка, конечно же, хотел поспорить, иногда даже разгневаться хотел и настоять на своём, и вызвать врача немедленно, но что-то в её голосе — то ли отчаянная решимость, то ли тихая, почти неземная покорность — остановило его. Еле-еле он постарался волю жены исполнить. Как раз из храма он принесёт завтра дары и причастит её. А пока что он просто сидел рядом, держа её за руку, и молчал, и в этой тишине было больше слов, чем в любых разговорах.

На следующий день, как и обещал, он принёс из храма Святые Дары, и причастил жену, исповедав её перед этим — кратко, как и полагается для тяжелобольных, но с той полнотой, которая давала ей мир в душе. Жена после причастия словно бы немного успокоилась, лицо её разгладилось, и она уснула — глубоко, без стонов, впервые за много дней.

Когда он принёс и причастил жену, он вызвал врача. Врач ехал долго, медленно, будто неохота ему было тащиться в такую даль, в эту забытую Богом и людьми деревню, к пациентке, которая, по всей видимости, уже не могла быть ему интересна профессионально. Но когда он наконец приехал — пожилой, усталый, с тем равнодушием во взгляде, которое приходит к врачам, повидавшим слишком много страданий, — он осмотрел жену, послушал её грудь, покачал головой и констатировал неутешительную новость.

— У вашей жены, — сказал врач, убирая стетоскоп в потертый кожаный саквояж и глядя куда-то в сторону, — туберкулёз. Поэтому мужайтесь.

Что сказал врач? Батюшки потекли слёзы. Он стоял посреди комнаты, беспомощно опустив руки, и слёзы текли по его лицу, и он не вытирал их, не стыдился их. Конечно, жена его была неидеальна — иногда ворчала и ругалась, и много раз они ссорились из-за пустяков, и потом мирились, и снова ссорились, и снова мирились, как это бывает в любой долгой семейной жизни. Но он не хотел терять свою возлюбленную. Не хотел оставаться один с детьми, с этим домом, с этой лампадкой в углу, которая будет гореть, а её рядом не будет. И сейчас он не знал, что и как ему быть, что ему дальше делать. Он стоял, и слёзы текли, и в голове была только одна молит-

ва, самая короткая и самая честная: «Господи, помоги. Господи, спаси и сохрани. Да будет воля Твоя».

Глава вторая. Несчастное воскресенье

Воскресенье началось мрачнее мрачного. С самого раннего утра небо над Уставкой затянуло тяжёлыми, свинцовыми тучами, и мелкий, нудный дождь, казалось, зарядил на весь день. Батюшка с детьми возвращался со службы — Амвросий и Ксения, притихшие и серьёзные, держались за его руки, а он шёл,mechanически переставляя ноги, с тем смутным, тревожным предчувствием, которое иногда посещает человека на пороге беды. Когда они вошли в подъезд и поднялись на свой второй этаж, батюшка, ещё не отворив дверь, будто почувствовал: что-то случилось. Что-то непоправимое, тяжёлое, что уже нельзя отменить.

Войдя в комнату, он увидел, что жена его почила. Она лежала на постели, вытянувшись, с закрытыми глазами и тем особым, просветлённым выражением лица, которое бывает у людей, только что отошедших в вечность. В комнате стояла та особенная, звенящая тишина, в которой слышно было только, как за окном шумит дождь, да где-то в углу тихонько потрескивает фитилёк лампадки. И ещё казалось, что жена присутствует — невидимо, тихо, словно она ещё не совсем ушла, словно задержалась на пороге, чтобы в последний раз

взглянуть на детей, на мужа, отдать им своё последнее, безмолвное благословение.

В этот миг у батюшки всё было разбито. Казалось, он потерял всё, что мог, всё, что было ему дорого, всё, ради чего он жил и дышал. Он стоял, смотря на жену, и в голове его, словно удары колокола, бились одни и те же слова, обращённые к Богу: «Почему? Что я сделал не так? Господи, почему Ты забрал у меня последний цветочек жизни? Я её так любил. За что, Господи? За что? Скажи, что я сделал не так перед Тобой? Где я ошибся? За что, Господи?» Он упал на колени перед кроватью и долго изливал слёзы, сотрясаясь от рыданий, которые он не мог и не хотел сдерживать. Дети стояли рядом, молча, прижавшись друг к другу, и их маленькие лица были серьёзны и бледны — они ещё не осознавали великий шок, ещё не понимали до конца, что произошло, и потому не плакали, а только смотрели широко раскрытыми глазами на отца, на мать, на этот мир, который вдруг стал таким холодным и чужим.

Стараясь сдерживать себя и прося у Бога укрепления и сил, батюшка всё же немного встал, вытер лицо и приобнял детей крепко-накрепко, прижав их к своей груди. Он понимал, что они считают — даже не осознают — великий шок, и от этого понимания ему становилось ещё больнее. Он держал их, и они стояли так втроём, и в этой тишине было что-

то от той молитвы, которую нельзя произнести словами. Потом, словно очнувшись, он начал действовать: нужно было звонить, нужно было что-то делать, нужно было жить дальше.

У батюшки машины не было, и поэтому он заказал похоронное бюро. Люди приехали довольно быстро — не особенно важные, простые, с тем привычным, чуть усталым выражением лиц, которое бывает у тех, кто каждый день имеет дело со смертью. Они погрузили тело, сделали всё необходимые манипуляции, и уже через некоторое время процессия оказалась на кладбище, раскинувшемся на пологом холме за деревней, среди старых берёз и покосившихся крестов.

Батюшка отпевал молча, монотонно. Голос его, обычно такой тёплый и живой, теперь звучал ровно и глухо, словно он читал не молитвы, а самую тяжёлую в своей жизни книгу. Людей собралось немного — лишь некоторые коллеги из школы, в основном пожилые, да несколько соседей, пришедших отдать последний долг. Батюшка читал, и волосы его, выбившиеся из-под резинки, развевались на ветру, и казалось, что даже сам Бог своим дуновением утешает его, помогает пережить то, что не каждый человек способен выдержать. По церковному чину, после чтения Апостола и Евангелия, он прочёл разрешительную молитву, в которой Церковь молит Господа простить усопшему согрешения вольные

и невольные и удостоить Царства Небесного. Затем, по древней традиции, он вложил свиток с текстом этой молитвы в правую руку почившей, как знак прощения и примирения с Церковью, как свидетельство того, что любовь не прекращается и за гробом.

И в первый раз дети заплакали — очень сильно, навзрыд, словно только сейчас, у могилы, они поняли, что мамы больше нет. Тут подошла какая-то старушка в тёмном платке и, стараясь их успокоить, гладила их по головам, что-то тихо приговаривала, но дети не успокаивались. Казалось, батюшкино сердце было безутешно разбито, и уже ничто и никто не мог восстановить утраченное, не мог утешить то горе, которое свершилось в этот миг. И вправду, что может быть утешительнее разбитого горя? В этот миг батюшка, смотря на почившую жену, в глубине души только и думал: «Господи, значит, так надо. Укрепи, помоги мне». Хотя сам он не до конца понимал, что же его всё-таки удерживает, ведь он пережил неописуемое горе.

Когда похороны совершились, батюшка прочёл последнюю разрешительную молитву, и они с детьми потихоньку направились к выходу с кладбища, оставив позади свежий холм, венки и ту тишину, которая бывает только на погостах. Конечно же, вернувшись домой на том же стареньком, дребезжащем автобусе, первым делом батюшка написал ди-

ректору школы с просьбой дать ему некоторое время отпуска — небольшое, чтобы пережить утрату, прийти в себя, научиться жить заново. Директор вошла в положение и не стала препятствовать этому событию, конечно же, дала отпуск. Батюшка положил телефон на стол и посмотрел в окно, за которым всё так же моросил дождь, и подумал о том, что завтра ему не нужно идти в школу, не нужно никуда спешить, и от этой мысли ему стало ещё тяжелее. Как вдруг…

Глава третья. Неисповедимы судьбы Твои, Господи

Когда батюшка с детьми отдыхал в понедельник после пережитого горя, он проснулся рано — не от звонка будильника, а от той внутренней, тревожной тишины, которая поселяется в доме, где недавно был покойник. За окном ещё только-только начинало светать, небо было серым, низким, и мелкий дождь, не прекращавшийся со дня похорон, тихо стучал по жестяному подоконнику. Батюшка встал, накинул на плечи старую куртку и прошёл на кухню, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить детей. Ему хотелось сделать для них что-то простое и тёплое — то, что делала для них мама. Он достал сковороду, муку, яйца, молоко и принялся за блинчики. На кухне всё шипело, вертелось, пахло горячим маслом и сладким тестом; батюшка двигался по маленькому пространству кухни, задевая углы, и в этой привычной суете ему на мгновение показалось, что ничего не случилось, что

жена сейчас войдёт, сонная, в халате, и скажет что-нибудь ворчливое, но своё, родное.

Когда уже приготовив, он позвал детей. Первым проснулся, конечно же, Амвросий. Быстренько умывшись, он вышел из ванной — пятилетний мальчишка с взъерошенными после сна волосами, в пижамной кофточке и шортиках, — и выглядел он таким милым, красивым мальчиком, на котором уже отпечаталась та незабываемая, тихая грусть о маме, которую дети порой носят в себе всю жизнь. Он сел за стол и посмотрел на отца внимательно, словно проверяя, всё ли в порядке в этом новом, непривычном мире без мамы.

Однако же не проснулась его сестра Ксюша. Она была двумя годами младше. Если Амвросию было уже шесть лет, то Ксюше — четыре года. Батюшка, накрывая на стол, прислушивался к тишине в комнате, где спали дети, и эта тишина вдруг показалась ему слишком глубокой, слишком неподвижной. Он пошёл проверить.

И когда он вошёл, то узрел страшное: на кровати Ксюша лежала, харкая кровью. На подушке, на простыне — ярко-алые, страшные пятна, и девочка, вся горячая, металась в забытьи, и её маленькое тельце сотрясал кашель, от которого, казалось, вот-вот разорвётся грудь. Батюшка потрогал её лоб — и похолодел. По телу прошла дрожь, руки сдела-

лись ледяными, а в голове что-то оборвалось, и он сам не понимал, что происходит с ним. Он смотрел на это тело — на свою девочку, на своё чудо, на свою радость — и, перекрестившись, уже даже не знал, как смотреть на икону. Потому что, смотря на Христа, его лицо исказилось то ли в злобе, то ли в непонимании, то ли вообще в непознании того мироздания, того, что он теряет. Он был человек верующий, но, как оказалось, не настолько, чтобы такое горе пережить. Вера его, ещё вчера казавшаяся крепкой, как камень, теперь колебалась, как пламя на ветру.

Он единственное, что мог, — это прижать девочку к себе, которая вся горела, и понимал, что скоро она пойдёт на тот свет. Батюшке всё время мысли посещали: неужели и эту свою дочь заберёт? Неужели он останется один с Амвросием, и этот дом, и без того опустевший, станет окончательно пустым? Но, находя силы преодолевать эти мысли и утешать себя добрыми, тихими словами, которые он сам едва слышал, батюшка находил в себе силы двигаться, действовать. Он вызвал скорую, и, пока ждал, сидел на краю кровати, держа Ксюшу за руку, и в голове его, помимо воли, сама собой, между пальцами, которые он сжимал и разжимал, читалась Иисусова молитва — короткая, как вздох: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Он читал её и не думал ни о чём другом, потому что все другие слова были слишком большими и слишком тяжёлыми.

Уйдя к сыну — мрачнее мрачного, с лицом, потемневшим от горя, — он услышал, как Амвросий, посмотрев на отца, спросил:

— Пап, ты чего такой грустный?

Отец, не желая подавать сыну свою тревожную грусть, постарался улыбнуться, хотя улыбка вышла кривой и жалкой:

— Не переживай, сынок. Ешь блинчики. День просто такой тяжёлый. Мама наша, жена моя, умерла, поэтому кушай.

Конечно же, Амвросий один блинчик съел, второй — и поморщился, отодвинул тарелку:

— Пап, не хочу я блинчики. Можно я пойду к сестре?

Отец весь в гневе, в злости посмотрел на него — не на сына злился, а на свою беспомощность, на болезнь, на весь этот несправедливый мир:

— Нет, нельзя! Ешь сказал!

Сын опустил взгляд и недовольно доедал свой завтрак, а батюшка, вздохнув, сказал, смотря на него уже мягче, с той

отцовской виной, которая приходит слишком поздно:

— Прости, сынок. Не надо было мне так.

Сынок ничего не ответил. Он просто сидел, маленький и тихий, и доедал свой блинчик, и в этой тишине было больше понимания, чем в любых словах. А сам батюшка был весь подавленный, разбитый. Про себя лишь, приминая между пальцами невидимые чётки, читал Иисусову молитву, которая, как учили святые отцы, должна быть всегда с нами, и в горе, и в радости, и в минуты, когда кажется, что земля уходит из-под ног.

Как вдруг дверной звонок позвонили. Сперва батюшка даже удивился — кто мог прийти в такую рань, в такой день? Он спросил:

— Кто там?

— Это Людмила Анатольевна, директор.

— Сейчас, сейчас.

Открыв, он увидел Людмилу Анатольевну, стоявшую на пороге в своём строгом деловом пальто, с зонтом в руке, с которого капала дождевая вода. Она сняла пальто, повесила

его на крючок в прихожей и сказала, оглядываясь:

— Можно войти, батюшка?

— Конечно, проходите. Может, вам чай налить?

— Будьте любезны, — сказала директор, и в её голосе, обычно таком твёрдом и непререкаемом, теперь слышалась какая-то новая, непривычная мягкость.

Она прошла в комнату, села на предложенный стул и, помолчав, достала из сумки конверт. Батюшка удивлённо посмотрел на него:

— А что это?

— Это небольшая поддержка от школы. Мы с коллегами собрали вам на первое время, чтобы вы как-то это пережили.

Батюшка, посмотрев на конверт, даже удивился. Ведь Людмила Анатольевна всегда была очень строгим человеком — очень жёстким, авторитарным. Её все любили, но притом очень боялись, хотя и уважали. В ней сочеталась та самая доброта и строгость, которая встречается в людях редко, и батюшка часто думал об этом сочетании, наблюдая за ней в школе. Но сейчас он впервые видел, когда её доброта про-

являлась так ярко, так открыто, без обычной суровой сдержанности.

— Я очень польщён, — сказал батюшка, и голос его дрогнул. — Спасибо, Людмила Анатольевна, что такую милость нам оказана. Этого на первое время хватит.

Директор кивнула, поднимаясь:

— Ладно, у меня ещё много дел. Вы уж понимаете, что вам завтра нужно выйти на работу.

— Да, понимаю. Крепитесь.

Она так же таинственно ушла, как и появилась, — тихо, быстро, словно не хотела мешать своим присутствием чужому горю. Батюшка закрыл за ней дверь и постоял в прихожей, держа в руках конверт, и в этой простой человеческой поддержке было что-то от той самой любви, которая, как он верил, держит мир. Конечно, он ценил её труды, но идти на работу было весьма и весьма тяжело. Он знал, что завтра ему придётся войти в класс, посмотреть в глаза детям, сказать им что-то важное, и он не знал, хватит ли у него на это сил. Но он также знал, что должен. Ради Амвросия, ради Ксюши, ради той памяти, которая была дороже любых слов.

Глава четвёртая. Школьное известие

В школе батюшка преподавал уже четвёртый урок основ православной культуры — или, как сам он называл свой предмет, «духовно-нравственное воспитание». Сегодня, отмечая отсутствующих, он вдруг заметил, что его любимого ученика Жени не было на уроке. Место за третьей партой у окна, где обычно сидел этот светловолосый мальчишка с вечно пляшущими в глазах бесенятами, пустовало, и эта пустота почему-то сразу резанула батюшку по сердцу. Он поинтересовался у ребят:

— А что же случилось с Женей?

Один мальчишка, его близкий друг по имени Матвей, поднял голову и сказал тихо, но так, что его услышали все:

— У Жени сегодня несчастье случилось. Сегодня ночью упал дрон и упал прямо на квартиру, где жил мой друг. Родители погибли. Сейчас приехали соцслужбы, органы опеки разбираться, что дальше с ним делать, выясняют, есть ли у него родственники. Это уже по всей деревне слухи идут.

У батюшки ком встал в сердце. Он посмотрел на своего ученика — на Матвея, который сидел, опустив взгляд, с побелевшим лицом, — и спросил, хотя уже знал ответ:

— Матвей, неужели это правда?

Матвей и дети поникли взглядом — все понимали, что это правда. К большому сожалению, сказать иного ничего не могли. В классе повисла та тяжёлая, давящая тишина, которая бывает только тогда, когда в детский мир входит взрослое, страшное горе. Батюшка смотрел на них — на эти юные, ещё не успевшие загрубеть лица — и чувствовал, как в нём самом поднимается что-то, чему он не мог дать названия: смесь боли, гнева и той беспомощности, которая всегда приходит, когда понимаешь, что не можешь защитить всех, кого любишь, от этого мира.

Он начал тему страданий и Креста Господня. На уроке батюшка рассказывал значение Креста Голгофского, что такое Голгофа, какие страшные испытания и муки принёс ради нашего спасения Спаситель наш. Он говорил о том, что Голгофа — это не просто место казни, а место, где встретились величайшая скорбь и величайшая победа, где Крест, бывший орудием позорной смерти, стал орудием спасения и знамением победы над грехом и смертью. Он говорил и о том, что каждое невинное человеческое страдание — это образ Голгофы, и в каждой невинной жертве, кротко страдающей, прозревается Агнец Божий, вземлющий грехи мира. Всё это он рассказывал без какой-то такой прямо радости, понимая

те несчастия и горе, которое нависло над его собственной семьёй и над семьёй его ученика. Но знал, что это какой-то путь к дальнейшему, к новому событию, которое не всегда понятно, не всегда идеально.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.